

ЯЗЫК
СЕМИОТИКА
КУЛЬТУРА

В. Н. ТОПОРОВ

**Святость и святые
в русской духовной
культуре**

Том II

**Три века
христианства на Руси (XII–XIV вв.)**

**Память о Преподобном Сергии:
И. Шмелев – «Богомолье»
(Приложение V)**



**ШКОЛА
«ЯЗЫКИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ»
МОСКВА 1998**

ББК 86.372-3
Т 58

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ)
проект 96-04-16267

Топоров В. Н.

Т 58

Святость и святые в русской духовной культуре. Том II.
Три века христианства на Руси (XII–XIV вв.). Приложение V.
Память о Преподобном Сергии: И. Шмелев – «Богомолье». –
М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. – 48 с.

ISBN 5-7859-0067-X

ББК 86.372-3

Except the Publishing House (fax: 095 246-20-20, E-mail: lrc@koshelev.msk.su)
the Danish bookseller firm G·E·C GAD (fax: 45 86 20 9102, E-mail: slavic@gad.dk)
has an exclusive right on selling this book outside Russia.

Право на продажу этой книги за пределами России, кроме издательства
Школа «Языки русской культуры», имеет только датская книготорговая
фирма G·E·C GAD.

ISBN 5-7859-0067-X

- © В. Н. Топоров, 1998
- © А. Д. Кошелев. Серия «Язык. Семиотика.
Культура», 1995
- © В. П. Коршунов. Оформление серии, 1995

ПРИЛОЖЕНИЕ V

ПАМЯТЬ О ПРЕПОДОБНОМ СЕРГИИ: И. ШМЕЛЕВ — «БОГОМОЛЬЕ»

Началась русско-японская война. Офицерам полка, расквартированного в Рязани, предстоял дальний путь в Маньчжурию. Их жены были в волнении и тревоге. Одной из них, Е. Ф., приснился Сергей Радонежский. Он сказал ей: «Отправляйся пешком в Троицу. Помолись, купи иконки и, вернувшись, раздай их всем, кто уходит на войну». Так все и было сделано. Не удалось отдать иконку жениху лучшей подруги Е. Ф. Кати Глазко, дочери известного генерала: он был в отъезде... Единственный из тех, кому предназначались иконки и до кого иконка Сергия не дошла, кто не вернулся с войны, был именно он. Она навсегда осталась одинокой.

Голодные годы в начале 30-х, во время коллективизации. Серебряные оклады с икон давно снесены в торгсин в обмен на жалкие боны, а сами иконы каким-то странным образом исчезли из дома. Ребенок, играя в мяч, закатил его в дальний угол комнаты, куда — и тоже не без труда — можно было пробраться лишь ползком: столик, диван на низких ножках, невысокий шкафчик с коробом радио преграждали путь в угол. Но преграды были все-таки преодолены, и там, в самом углу, была обнаружена большая, в окладе, икона: суровый и всепонимающий лик был изображен на ней. Когда с недоуменным вопросом икона была показана взрослым, они, явно недовольные раскрытием тайны, чуть замешкавшись, сказали,

* По ряду причин это Приложение V, завершающее книгу «Святость и святы в русской духовной культуре», том II (М., 1998), не могло быть включено в нее, и тем самым последняя, наиболее подробная часть книги осталась бы без своего естественного завершения. Сейчас это упущение восстанавливается публикацией Приложения. — Тексты «Богомолья» цитируются по изданию: *Иван Шмелев. Богомолье. М., 1997* (ср. также: *И. С. Шмелев. Лето Господне. Богомолье. Статьи о Москве. М., 1990*).

Приложение V

что это о с о б е н н ы й святой, самый большой из русских, и назвали его имя, слышанное ребенком и ранее, но только с того момента вошедшее навсегда в его сознание.

Из семейной хроники и воспоминаний детства

«Богомолье» Ивана Сергеевича Шмелева писалось, несмотря на небольшой объем этого произведения, полтора года — с июня 1930-го по декабрь 1931-го — вдали от России, но в память о ней. Думается, что само писание «Богомолья» было для автора мучительным и радостным одновременно: мучительным, потому что все это было утрачено раз и навсегда; радостным, потому что само это писание было воспоминанием-восстановлением и одновременно переживанием сладчайшего из того, что было в той, иначе как в воспоминании, невозвратимой жизни. Конечно, воспоминание о дорогом и к тому же безвозвратно утраченном чреват соблазном идеализации, некоего положительно преувеличенного описания прошлого. Но это идеальное вовсе не непременно победа соблазна над воспоминателем. Он сам, исполнившись духа любви и той цепкости памяти и зоркости зрения, которые в счастливые минуты дарует эта любовь, приобретает особый дар рельефного и полного видения того, что было, применение которого и есть само по себе восстановление лучшего и наиболее ценного в этом миновавшем прошлом, второе, более обостренное, переживание и тех частей, которые остались в памяти, и самого духа, который придает единство, полноту и смысл этим частностям и который может быть уловлен, прочувствован и описан только уже после того, как все это утрачено, и не ребенком, все это некогда пережившим, но зрелым человеком, печально, со стесненным сердцем, но и с глубокой благодарностью за все, что некогда было, прощающим с дорогими воспоминаниями.

Иван Ильин в своей статье о «Богомолье» И. С. Шмелева говорит о том, что в этом произведении он «продолжает свое *дело бытописателя* «Святой Руси»», и добавляет:

Руси, — народа простого и душевно открытого, благодушного и уветливого, прошедшего с молитвой и верой великий и претрудный путь исторических страданий и осмыслившего свою земную жизнь как служение Богу и Христу.

И далее, хотя и с меньшей очевидностью и с большим субъективизмом:

Это не преувеличение: «Святая Русь»... Прошли, канули безвозвратно в историю темные годы религиозной слепоты и глухоты, когда эти чудесные слова выговаривались с иронической, кривой усмешкой... Русская интеллигенция учится и научится произносить их иначе — с глубоким чувством, цельно и искренно: и сердцем, и разумом, и устами, и во-

Память о Преподобном Сергии

лею. «Богомолье» Шмелева даст это внутреннее прозрение и видение; не видение-призрак, не иллюзию, а подлинную реальность во всей ее очевидности. Он выговаривает здесь некую *великую правду о России*. Он высказывает и показывает ее с тою законченною художественною простотою, с тою ненарочитостью, непреднамеренностью (*desinvolto*), с тою редкостною безыскусственностью, которая дается только художественному акту предельной искренности. Сила этой искренности такова, что расстояние от художника до его образов и расстояние от его образов до читателя преодолевается и снимается совсем: *всё* угасает, *всё* забывается, все условности «авторства», «литературности», «чтения»; реально только *богомолье* — горсть людей, ведомых вдаль, к Преподобному, и путь, ведущий и приводящий их к Н е м у. Какая художественная и духовная радость — забыть себя и найти их! Как *легко* эта радость дается! Какая *творческая сила*, какое зрелое мастерство скрыто за этой легкостью!

Вероятно, не со всем здесь сказанным можно согласиться вполне. Бок о бок с великой правдой в России существовала, а в XX веке и набрала страшную силу неправда — и не как отсутствие правды, бесправдие, а как активное, агрессивное и деструктивное начало, как К р и в д а, затмившая ту великую правду о России, о которой говорится выше и которая действительно жива и сейчас. XX век, как, пожалуй, никакой другой в истории России, оправдал ситуацию, описанную в «Стихе о Голубиной Книге»: прение Правды и Кривды кончилось тем, что Правда вынуждена была уйти на Небо, а Кривда воцарилась на Руси — с тем только дополнением, что сонмы праведников, носителей Правды, стали жертвами Кривды здесь, на Земле.

Но в «Богомолье» речь идет о святой Руси, о том подъеме святости, который связан с богомольем, обновлением, духовным очищением, с тем праздником души, который «выражает самое естество России — и пространственное, и духовное [...] способ быть, обретать и совершенствоваться [...] *ее путь к Богу*» (И. Ильин), на котором открывается ее святость. Тот же автор — и в этом отношении к нему, конечно, присоединяется и Шмелев — хорошо знает, что понятие и образ святой Руси таят в себе соблазны, которые могут открыть ложный путь — к гордыне, к сознанию собственной исключительности, к недооценке или умалению «чужой» святости. Поэтому он особо повторяет то, что, строго говоря, вытекает из всего хода его рассуждений и из шмелевского «Богомолья».

Русь именуется «святою» не потому, что в других странах нет святости; это не гордыня наша и не самопревознесение; оставим другим народам грешить, терять, искать и спасаться по-своему. Речь о Руси [...] Русь именуется «святою» и не потому, что в ней «нет» греха и порока; или что в ней «все» люди — святые... Нет.

Но потому, что в ней живет глубокая, никогда не истощающаяся, а по греховности людской и не утоляющаяся *жажда праведности*, мечта

Приложение V

приблизиться к ней, душевно преклониться перед ней, *художественно отождествиться с ней*, стать хотя слабым отблеском ее... — и для этого оставить земное и обыденное, царство заботы и мелочей и уйти в богомолье.

И в этой жажде праведности человек прав и свят при все й свое й обыденной греховности [...] И когда мы говорим о «Святой Руси», то не для того, чтобы закрыть себе глаза на эти пределы человеческого естества и наивно и горделиво идеализировать свой народ; но для того, чтобы утвердить вместе со Шмелевым, что рядом с *окаянную Русью* (и даже в той же самой душе!) всегда стояла и *Святая Русь*, молитвенно домогавшаяся ко Господу и достигавшая Его лицецерения — то в свершении совершенных дел, то в слезном покаянии, то в «томлении духовной жажды» (Пушкин), то в молитвенном богомолнии. И Россия жила, росла и цвела потому, что *Святая Русь вела несвятую Русь*, обуздывала и учила *окаянную Русь*, воспитывая в людях те качества и доблести, которые были необходимы для создания Великой Руси [...] А когда Святая Русь была мученически отстранена от водительства [...], тогда она ушла в новое таинственное богомолье душевных и лесных пещер, вслед за уведенным ее Сергием Преподобным: там она пребывает и поныне.

«Богомолье» — как раз о той Святой Руси, которая направлена на идеал святости, о людях, в которых живет святое или которые ему открыты и не забывают о нем, приближаются к нему, хотя бы только в лучшие моменты своей жизни, когда происходят духовное очищение и просвещение. Богомолье, связанное с паломничеством в Троице-Сергиеву Лавру, уже столетия назад ставшее традицией, и с данью памяти и любви Сергию Радонежскому, — один из таких светлых праздников года, когда в человеке пробуждается лучшее в нем, когда он особенно чуток к святому, к Божественному. Впрочем, в «Лете Господнем» Шмелев убедительно показывает, что эта чуткость, эта открытость лучшему распределена и по всему году в отмеченных точках его. Потому-то и *лето* — *Господне*, что весь год люди хотят и стараются — при всех отклонениях, прегрешениях, срывах — жить с Богом или даже в Боге, возлагать свою надежду на Него, вспоминать о своем Богоподобии. «Лето Господне» построено внешне просто, даже безыскусно, в соответствии с временным рядом годового круга. Столь же простым представляется по своей структуре «Богомолье», даже еще проще и безыскуснее, чем «Лето Господне»: из всего состава годовых праздников выбирается лишь один и, строго говоря, не из самых главных по своему церковному рангу: описываемое здесь богомолье по своему значению, конечно, уступает и Пасхе, и Рождеству, и другим праздникам, отмечаемым Вселенским христианством и Церковью. Но этот праздник — совершенно особый, если угодно, народный, глубоко укорененный в жизни народа, в его быте, его занятиях, его надеждах и

чаяниях. В известном смысле можно сказать, что хозяин и инициатор описываемого у Шмелева богомолья сам народ, он главное действующее лицо богомолья. И само богомолье как бы вырастает из повседневности, из быта, и духовное, религиозное, именно «сергиево» выходит на первый план лишь постепенно, не порывая с повседневностью и бытом, но о с - в я щ а я их, сакрализуя самое жизнь, придавая ей некий особый, высший смысл — единения в духе, душевного согласия, осознания своей соборности как сопричастности общему делу, некоей общей идее.

В «Богомолье» двенадцать глав. Они описывают в правильной временной последовательности все этапы того целого, которое объединяется названием богомолья. По названию глав нетрудно представить себе, о чем идет речь в каждой из них: 1. Царский золотой, 2. Сборы, 3. Москвой, 4. Богомольный садик, 5. На святой дороге, 6. На святой дороге, 7. У Креста, 8. Под Троицей, 9. У Троицы на Посаде, 10. У Преподобного, 11. У Троицы, 12. Благословение.

Только первая глава («Царский золотой») остается неясной для приступающего к знакомству с текстом читателя, познакомившегося с заглавием ее. Но композиционная роль этой главы и ее глубинный смысл обнаруживаются легко при первом же ее прочтении.

Всё начинается не слишком благополучно. Сразу же обнаруживается некоторая шероховатость ситуации, даже напряженность, дающая повод предполагать ситуацию некоего дефицита, который может отрицательно повлиять на продуманный план больших и разнообразных работ в обширном хозяйстве, где выполнение плана — долг и дело чести. Теснота дел, работ, обязанностей, действующих лиц, хотя и в первой главе и во всей книге (кстати, как и в «Лете Господнем») три персонажа отмечены — мальчик, с чьей позиции увидено и описано происходящее; отец, стоящий во главе большого дела и имеющий дело со многими людьми, человек активный, энергичный, динамичный; и Горкин, первый помощник и советчик отца мальчика, хотя он, Горкин, теперь на покое: мальчик любит своего «Горку», отец глубоко уважает его и прислушивается к нему, даже если сам придерживается иного мнения. Так случилось и в первой главе, и все очень легко могло бы направить события в ту сторону, где о богомолье не могло быть и речи.

Действие начинается на Петровки, в самый разгар работ, когда отец целыми днями пропадал на стройках. Да и приказчик Василь-Василич дома не ночевал, всё в артелях. Горкин свое отслужил, он «на покое», и его тревожат только в особых случаях, когда «требуется свой глаз». Мальчик не все понимает в деталях, но чувствует, что не всё в порядке. «Работы у нас большие, с какой-то «неустойкой»: не кончишь к сроку — можно и прогореть». Что такое «прогореть», ему не вполне ясно, и он спрашивает у Горкина, что такое это «прогореть». — «А вот скинут по-

Приложение V

следную рубаху, — вот те и прогорел! Как прогорают-то... очень просто», — разьясняет Горкин. — А с народом совсем беда: к покосу бегут домой в деревню, и самые-то золотые руки», — поясняет Горкин. Отец страшно озабочен, весь в спешке, летний пиджак его весь мокрый: начались жары, Кавказка с утра до вечера не расседлана: «все ноги отмотала по постройкам». Отец кричит Василь-Василичу:

— Полоторное плати, только попридержи народ! Вот бедовый народишка... рядились, черти, — обещались не уходить к покосу, а у нас неустойки тысячные... Да не в деньгах дело, а себя уроним. Вбей ты им, дуракам, в башку... втрое ведь у меня получат, чем со своих покосов!..

И Василь-Василич, заметно похудевший и беспомощно разводя руками:

— Вбивал-с, всю глотку оборвал с ними... [...] ничего с ними не поделаешь, со спокон веку так. И сами понимают, а... гулянки им будто, травкой побаловаться. Как к покосу — уж тут никакими калачами не удержать, бегут. Воротятся — приналягут, а покуда сбродных попринайдем. Как можно-с, к сроку должны поспеть, будь покойны-с, уж догляжу.

Примерно то же говорит и Горкин. Он знает: «покос — дело душевное, нельзя иначе, со спокон веку так; на травке поотдохнут — нагонят». Итак, народ — ненадежен, вернее, не вполне надежен; отношение его к договору, к условию — гибкое; ради родного, издавна поведшегося они уедут на покос, но, вернувшись, приналягут и в конце концов всю работу завершат. Сам отец понимает, что так и будет, но он деятель новой формации, его отношение к договору, к слову иное, и потому сейчас он раздражен: его дело поставлено под угрозу невыполнения, срыва.

И именно в эту минуту к нему приступает Горкин. «Что тебе еще?.. [...] Какой еще незалад?» — спрашивает отец тревожно, раздраженно. — «Да все, слава Богу, ничего. А вот хочу вот к Сергию Преподобному сходить-помолиться, по обещанию... взад-назад». Так впервые обозначается в «Богомолье» тема Сергия. Отец в крайнем раздражении: «Ты еще... с пустяками! Так вот тебе в самую горячку и приспичило? помрешь — до Успенья погодишь?» Отец замахивается вожжой — вот-вот уедет. — «Это не пустяки, к Преподобному сходить-помолиться... — говорит Горкин с укоризной. — [...] Теплую бы пору захватить. А с Успенья ночи холодные пойдут, дожди... уж нескладно итить-то будет. Сколько вот годов все собираюсь...»

Но у отца свои резоны и свой выход из положения — «Поезжай по машине, в два дня управишься. Сам понимаешь, время горячее, самые дела, а... как я тут без тебя? Да еще, не дай Бог, Косой запьянствует? — Господь милостив, не запьянствует... он к зиме больше прошибается. А всех делов, Сергей Иваныч, не переделаешь. И годы мои такие, и... — А, помирать собрался? — Помирать — не помирать, это уж Божья воля, а...

Память о Преподобном Сергии

как говорится, — делов-то пуды, а она — туды [...] Она ждать не станет, — дела ли, не дела ли, а всё покончила». На этом разговор заканчивается. Сергей Иванович уезжает. Горкин расстроен и от расстройства кричит на мальчика («Ну, чего ты пристал?..») и на столяров и наконец уходит в свою каморку, а мальчик садится снаружи у окошка: его жгуче интересует, возьмет ли Горкин его с собою к Преподобному. Горкин же разбирается в сундучке, под крышкой которого наклеена картинка — «Троице Сергиева Лавра», и ворчит себе под нос:

Не-эт, меня не удержите... к Серги-Троице я уйду, к Преподобному... уйду. Все я да я... и без меня управитесь. И Ондрюшка меня заступит, и Степан справится... по филенкам-то приглядеть, великое дело! А по подрядам снова — прошла моя пора. Косой не запьянствует, нечего бояться... коли дал мне слово-зарок — из уважения соблюдет. Как раз самая пора, теплынь, народу теперь по всем дорогам... Не-эт, меня не удержите.

Этот ворчливый монолог, предполагающий, однако, и второй голос, отца мальчика Сергея Ивановича, которому Горкин возражает, как бы всё более и более утверждая себя в своем намерении пойти в Лавру, именно об этом намерении, об оправдании его (дело не остановится от ухода Горкина на богомолье, помощники есть, а кого и нет, легко найдутся) и, главное, о самом себе. Это последнее сразу ясно читателю, хотя он пока не понимает этого «эгоизма» Горкина и его устремленности во что бы то ни стало осуществить свой замысел. Сейчас для него ничего иного не существует, и когда мальчик, горько-горько чувствующий, что его-то уж ни за что не пустят, прерывает ворчание в свою моноидею ушедшего Горкина («— А меня-то... обещался ты, и? [...] А меня-то, пустят меня с тобой, а? ...»), тот, даже не глядя на мальчика, — нелюбезно, почти грубо (если не принять во внимание его состояния души):

Пу-стят тебя, не пустят... — это не мое дело, а я всё равно уйду. Не-эт, не удержите... всех, брат, делов не переделаешь, не-эт... им и конца не будет. Пять годов, как Мартына схоронили, всё собираюсь, собираюсь... Царица Небесная как меня сохранила, — показывает Горкин на темную икону, которую я знаю, — я к Иверской сорок раз сходить пообещался, и то не доходил, осьмнадцать ходов за мной. И Преподобному тогда пообещался. Меня тогда и Мартын просил-помирал, на Пасхе как раз пять годов вышло вот: «Помолись за меня, Миша... сходи к Преподобному». Сам так и не собрался, помер. А тоже обещался, за грех...

«А за какой грех?», — спрашивает мальчик Горкина, хотя, конечно, знает, за какой, но ему нужно привлечь к себе внимание Горкина, ушедшего в свою навязчивую мысль. Но и Горкин, кажется, понимает ситуацию, но, не давая себе возможности расслабиться, продолжает свой мо-

нолог, одновременно — как бы в знак непоколебимости своего выбора — вынимая из сундучка рубаху, полотенце, холщовые портянки, заплечный мешок:

— Это вот возьму, и это возьму... две сменки, да... И еще рубаху расхожую, и причасальную возьму, а ту на дорогу про запас. А тут, значит, у меня сухарики [...] с чайком попить-пососать, дорога-то дальняя. Тут, стало быть, у меня чай-сахар [...] а лимончик уж на ходу прихвачу, да... но-жичек, поминанье... — сует он книжечку с вытисненным на ней золотым крестиком, которую я тоже знаю, с раскрашенными картинками, как исходит душа из тела и как она ходит по мытарствам, а за ней светлый ангел, а внизу, в красных языках пламени, зеленые нечистые духи с вилами, — а это вот, за кого просвирки вынуть, леестрик... все к череду надо. А это Сане Юрцову вареньица баночку несусь, в квасной послушанье теперь несет, у Преподобного, в монахи готовится... От Москвы, скажу, поклончик-гостинчик [...]

А тем временем у мальчика, чьи надежды на путешествие в Троицу почти сошли на нет, разрывается душа и он не знает, чем привлечь к себе внимание Горкина. И он хватается за первое попавшееся: «Горкин... а как тебя Царица Небесная сохранила, скажи?..» — спрашивает он о том, что сам хорошо знает. И Горкин тоже знает, что мальчику эта история хорошо известна, но в своем теперешнем расположении духа он и сам нуждается во внимании к нему другого и в очередном воспроизведении той давней истории. Она тоже о святом и о чудесном и тоже лишний аргумент в том, что долг платежом красен и что не идти к Преподобному просто никак нельзя. Теперь Горкин отрывается от дел и от своего ворчания, поднимает голову и говорит, смягчаясь, уже без строгости: «Хлюпаешь-то чего? Ну, сохранила... я тебе не раз сказывал. На вот, утрись полотенчиком... дешевые у тебя слезы».

И начинается рассказ о том, что случилось когда-то. Ломали дом на Пресне, Горкин нашел на чердаке старую иконку («ту вон...»), сошел с чердака:

стою на втором ярусу... — дай, думаю, пооботру-погляжу, какая Царица Небесная, лика-то не видать. Только покрестился, локотком потереть хотел... — ка-ак загремит всё... ни-чего уж не помню, взвило меня в пыль!... Очнулся в самом низу в бревнах, в досках, все покорежено... а над самой головой у меня здоровенная балка застряла! В плюшку бы меня прямо!.. — вот какая. А ребята наши, значит, кличут меня, слышу: «Панкратыч, жив ли?» А в руке у меня — Ц а р и ц а Н е б е с н а я! Как держал, так и... чисто на крыльях опустило. И не оцарапало нигде, ни царапинки, ни синячка...

Мальчик хорошо знает эту иконку (Горкин хочет ее положить с собой в гроб «душе во спасение») и всё, что в каморке его старшего друга и опекуна, — и картинку «Страшного Суда» на стенке, с геенной огненной, и